

Инна РУДИ

РЕКС

Первомайск — это городок, в котором всегда лето. И не потому, что он расположен в какой-нибудь Африке, а потому, что находится в детстве. Я ни разу в жизни не была там зимой, поэтому там всегда лето. Начинается Первомайск всякий раз ранним-ранним предрабочим утром за окном вагона, начинается прямо от вокзала, где уже стоит на пустой платформе свежеемытый и свеженаглаженный строгий дедушка, который почему-то свой пиджак называет тужуркой, неукоснительно соблюдает режим дня, и с которым уважительно здороваются каждый встречный-поперечный.

Сразу же по дороге к дедушкиному дому, дороге, которая зачем-то снилась весь год, — все то, что называется "Первомайск", проникает в тебя сквозь поры, дыхание, глаза и уши: все эти заборчики, по которым вьются разноцветные вьюнки, все эти нависающие ветки буйных шелковиц, среди которых белая кажется вкуснее, потому что дома только черная; и приторно-пахучие шапки розовых флоксов, которые ты не прочь слопать от восторга, хоть никогда и не пойдешь на такое кощунство; и разлитый над лебедой и крапивою запах очень пресной речки с болотистым дном и шустрыми головастиками; а за деревянными воротами, прямо вдоль беленой боковой стены любимого дома — живая арка виноградной аллеи, где свисают огромные, но совсем еще зеленые гроздья "дамских пальчиков" — и ты знаешь, что снова не доведется попробовать их, ведь они созревают лишь осенью. А в Первомайске бывает только лето.

Когда тебе 10 лет, тебя еще не пускают одну на речку, зато можно целыми днями пропадать у друзей — лишь бы это было "на свежем воздухе", и с обязательной вьюкой до дома в часы семейных трапез и непререкаемого послеобеденного сна. В то лето я особенно подружилась с Фимкой — своим двоюродным дядей, который был старше меня всего на год. Я никак не могла понять, почему этот конопатый пацан с огромными пушистыми ресницами считается моим дядей, — но в сущности, это не имело значения, все население этого местечка было либо нашими родственниками, либо соседями.

Впервые оказавшись в мальчишеской компании Фимкиных товарищей, я изо всех сил старалась быть с ними на равных в их обычных "подвигах" — лазании по деревьям и игре в футбол, и лишь в одной игре я чувствовала некоторое превосходство: мы играли в войну, и я была медсестрой. Главная прелесть игры состояла в том, что в конце Фимкиного двора стоял деревянный сарай с плоской чуть покатою крышей, на которую мы забирались, — мальчишки со своими "автоматами", "пулеметами", "командирским пистолетом" и "гранатами" (ими были перегоревшие лампочки, которые можно было метать с крыши, чтобы они со звоном "взрывались"), а я со своими склянками, кусочками ваты и бинта, которым привязывался очередной "раненый" (ранение, как правило, случалось в голову — так красивее смотрелся намотанный бинт), — и эта крыша была то высотой, которую мы защищали от врага, то дзотом (точного значения этого слова я тогда не знала, но звучало оно по-военному — со скрежетом), в общем, — она была нашим местом военных действий, нашей родиной, нашим домом.

Но ежедневно возникало одно серьезное препятствие, чтобы начать, а затем закончить любимую игру: у самого сарая на длинной цепи бесновался Рекс, хозяйский пес. В каждом доме, вернее, в каждом дворике при доме жила своя сторожевая собака. Она громким лаем оповещала хозяев о приближении чужака, но обычно быстро успокаивалась, видя, что хозяева принимают гостей

как своих. Не таков был Рекс. Я ни разу в жизни не видела столь злобного и свирепого пса: он не лаял, а изрыгал оглушительные рыки, от которых стыла кровь, он всем своим могучим серо-коричневым телом с отливающей короткой шерстью рвался с цепи, передавливая собственное горло ошейником, — и тебе невольно виделась ужасающая картина: толстенная цепь лопается, либо глубоко вбитый кол, удерживающий ее, выскакивает из земли —



Фото Александра Синельникова

и это чудische разрывает тебя на части. Он никогда не замолкал, покада в доме были чужие, но даже из домашних он подпускал к себе только Фимкину маму — хозяйку, — и то лишь позволяя ей поставить перед собой миску с едой. Поэтому всякий раз нам приходилось просить Фимкину маму постоять возле Рекса с миской, чтобы мы могли забраться либо слезть с крыши, а если ее не было дома — игра откладывалась до ее прихода. Но именно Рекс придавал нашей игре особую остроту: забираясь на крышу, мы тащили за собой свои дрожащие поджилки, будто и в самом деле прошли сквозь тяжелые бои, а во время игры его громоподобный лай заменял нам вражескую канонаду и создавал атмосферу опасности.

Время ужина наступало внезапно, как нежданная засада в глубоком тылу. Приходилось возвращаться домой, потом гулять уже не выпускали, укладывались рано, но читать разрешалось сколько угодно — и среди зачитанных дедушкиных книг я, конечно же, выбрала сборник рассказов о войне. Это было словно взаправдашнее продолжение нашего дневного сражения, а назавтра воображение подпитывалось прочитанным накануне.

Один из рассказов потряс меня до глубочайших, долгих, тихих слез в подушку. Его название, как и имя автора, потонуло где-то в теплой и темной бездне жужжащей ночи, плотно укутавшей крошечный кукольный городок, словно присмирившего ребенка. Сюжет этого рассказа был необычен: измученного пытками советского офицера гестаповцы бросили на ночь в камеру, где на длинной цепи была привязана немецкая овчарка, натасканная на то, чтобы не давать заключенному ни спать, ни тем более лечь. Он мог только стоять, вплотную прижавшись к стене, — иначе длина цепи позволяла собаке достать и загрызть его. Это была верная и жуткая смерть: он бы не устоял на ногах и нескольких часов. И вот этот обреченный человек начал разговаривать с собакой — разговаривать ровно, спокойно, ласково, не останавливаясь. Это вызвало у зверя неопишемую ярость, и долгое время все слова тонули в грохочущей

лавине лая. Наконец, собака от усталости и изумления замолкла и начала прислушиваться. Но при первой же попытке человека чуть-чуть согнуть колени — все началось сызнова. Так продолжалось долго-долго: человек по сантиметрикам отвоевывал себе возможность еще немного сползти по стене, приступы собачей ярости становились все короче, и часа через два пленный уже сидел на полу, а овчарка глухо рычала. Наутро гестаповцы обнаружили на полу возле дверей камеры целого и невредимого пленного, спящего в обнимку с собакой. Расстреляли обоих. Все.

Укрывшись с головой и вжавшись в подушку, я все плакала и плакала, — а чувство трагедии все росло и росло. Я только не могла понять — как стала известна эта история, если все пленные, побывавшие в этой

нибуде перестают так ненавидеть меня, — и я заговорила.

Дальше все случилось, как в книжке: первые же мои слова вызвали у него новый прилив сил и ярости, даже голос приобрел прежнюю звучность, — а я все говорила и говорила: какой Рекс хороший, как ему тоскливо сидеть на цепи, как его никто не любит, кроме меня, какой Рекс замечательный, и как мы будем с ним дружить. Это длилось бесконечно. И вот — в его лае появились крошечные перерывы, он уже не лился сплошным потоком и, наконец, он умолк и стал слушать! Я не поверила собственным ушам и так обрадовалась, что чуть не замолчала, — но все же продолжила ворковать ему с особенной нежностью. Он удивленно наклонил голову, тореща уши, — и я решилась сделать первый маленький шаг навстречу.

может двигаться туда и сюда, — приговаривала я, постепенно поднимая руку к его лбу, — я сейчас его тебя поглажу, это совсем не больно, это даже очень приятно, и ты поймешь, как я тебя люблю, какой ты хороший, как это замечательно, когда тебя гладят по голове..." И вот, опустив руку на его голову, я стала гладить его в том же размеренном ритме, что и говорила. От этого прикосновения к его твердому широкому лбу, к жесткой шерсти, не знавшей ласки, — сердце мое чуть не лопнуло от любви и жалости, я поняла, какой огромный барьер он одолел, доверившись моей руке, весь страх вдруг куда-то улетучился — и я стала гладить его двумя руками уже без всякого ритма, и слова, которые я придумывала всю долгую дорогу к нему, теперь полились сами собой легко и любовно.

И тут Рекс кинулся на меня — кинулся и стал облизывать с ног до головы, и прыгать, и вилять хвостом, и вся его бешеная энергия рванулась из ненависти в небывалый восторг.

Я была потрясена. Быть может, впервые я узнала счастье. Но я совсем не думала об этом, я только жалела, что у меня нет с собой ничего вкусенького, чтобы дать Рексу.

Нужно было уходить: с минуты на минуту могли вернуться хозяева, меня уже заждались дома, и кроме того, я устала до полного изнеможения. Нужно было уходить — и невозможно было оторваться от этого впервые изданного доверия и любви. Я еще и еще раз погладила Рекса, попрощалась с ним, сказала, что завтра снова приду, — он слушал меня всем своим существом — и помчался домой, заново переживая случившееся.

На другой день при первой возможности я побежала к Фимке — как-то встретит меня Рекс? не забыл ли он меня за одну ночь? На этот раз все были дома, новым было только одно: когда я приблизилась к забору с калиткой, — никто не залаял. С тех пор Рекс никогда больше не лаял, если я заходила в их двор, для него мир раскололся на две части: весь огромный, чужой, враждебный и ненавистный мир — и я. Волнение и трепет заполнили всю мою жизнь до конца лета. Я страшно боялась, что кто-нибудь догадается о нашей тайне. Мне могли запретить подходить к Рексу, а самое ужасное — его могли накачать, с дворовыми собаками вообще обращались сурово, а уж с таким "зверюгой" в особенности.

Я больше не хотела играть в войну с мальчишками. Игра отличная, но теперь, если бы мы забирались на крышу сарайчика, — все бы увидели, как Рекс кидается ко мне с лаской, и я придумала какую-то другую игру в другом месте. Лишь однажды Фимкина мама что-то заподозрила: "Я даже не заметила, как ты вошла, — сказала она мне, — и Рекс не залаял...". Я ответила, мол, наверное, заснул, — и Фимкина мама не придала всему этому значения. А я улучала каждую минутку, каждую возможность, чтобы незаметно пробраться в конец двора к Рексу. Иногда мне везло, и я приходила, когда никого не было дома, — и тогда мы с Рексом вволю резвились, играли друг с другом, и теперь я уже не была такой глупой, и приносила ему печенье или котлетку, или что угодно и кормила его с рук — никто в мире не мог себе этого позволить, даже Фимкина мама.

Лето кончилось, я уезжала. Прощаясь с Рексом, я изо всех сил старалась объяснить ему, что меня не будет долго-долго, но я обязательно приеду следующим летом, и мы снова будем дружить и играть. Нестерпимо было думать, что он решит, будто я его бросила. Рекс слушал меня, как всегда, всем своим существом и верил.

Через год я подошла к калитке Фимкиного двора и услышала грозный лай. "Забыл... забыл меня... Или не простил...".

Но это был не Рекс. В конце двора возле той же будки был привязан какой-то черный крупный пес.

Я спросила. Оказалось, Рекс все же разорвал свою толстенную цепь и покусал кого-то. Его застрелили.

Все началось сызнова, началось с той же яростью, ненавистью и энергией. Я вдруг с ужасом ощутила страшную усталость: я устала от страха, от напряжения, от долгого стояния на одном месте, оттого, что впереди еще огромное расстояние, из которого я прошла лишь один шагочек, и неизвестно — удастся ли пройти остальные. Но еще с большим ужасом я поняла, что обратного пути нет, что теперь нельзя уйти, нельзя сделать даже небольшой перерыв в разговоре и в движении к нему — тогда он возненавидит меня бесспоротно, окончательно и больше всех на свете. И еще одна тревога мучила меня: теперь я боялась, что кто-нибудь вернется домой, поднимет панику и разрушит мой безумный эксперимент. Да еще накажут ни в чем не повинного Рекса.

И я продолжала. Трудно сказать, сколько времени все это длилось: мой неумолкающий до слюпы говор, мои шагочки — как только Рекс умолкал, слушал и все больше дивился, но тут же начинал грохотать снова... Это длилось вечно. Все было, как в книжке, но я забыла о каждой ее выпуклой и осязаемой секунде. Не отрывая взгляда от глаз Рекса, я отчетливо видела и каждую волосинку в его шерсти, и каждый камешек под ногами, и каждую цепку его будки, и каждое движение толстых звеньев его цепи.

Наконец, я стояла перед ним на расстоянии вытянутой руки и знала, что теперь нужно его погладить. Трудно было решиться на это. Вообще-то, со всеми собаками прежде у меня быстро и легко устанавливались дружеские отношения: я их любила, и они любили меня. Но тут я как-то почувствовала, что Рекса никто никогда не гладил, и реакция его непредсказуема. И медленно протягивая к его черному носу свою руку для обнюхивания, я вдруг впервые в жизни увидела, какая у меня маленькая ручка, и какая я сама маленькая (до этого дня я, разумеется, считала себя вполне большой). Рекс опасно нюхал мою руку и вопросительно смотрел: он не знал, что ему делать с этой рукой, ведь запах мой ему и так давно известен.

"Видишь, Рекс, это моя рука, она